

Приторный скрипт и машинный холод: языковые коктейли эпохи искусственного интеллекта

МАРИЯ
РАХМАНИНОВА

Одно из главных знаний, подаренных нам философией XX века, – о языке. Язык – первичный фрейм нашего с миром взаимопреломления. Регистры языка предельно перформативны – они определяют не только объективную сторону этих интеракций (их конструктивность/деструктивность, потенциал к солидарности/разобщенности и так далее), но и субъективные континуумы самоощущения и самоопределения. Язык всегда больше нас. Это он задает своими траекториями диапазон возможного и невозможного в каждой конкретной ситуации: индивидуальной, коллективной, экзистенциальной, исторической и политической. В этом смысле место нашей возможной свободы отчасти связано именно со степенью нашего владения языком и прогностического понимания его сейсмоактивности в разных ландшафтах повседневности.

В последние двадцать лет рефлексии о языке постепенно стали звучать и на постсоветском пространстве – существенно видоизменяя и коммуникативный ландшафт повседневности, и этико-лингвистический канон языковых высказываний и презентаций.



Мария Рахманинова (р. 1985) – философ, независимая исследовательница, соосновательница журнала «Akrateia».



**ПОЛИТИКА
КУЛЬТУРЫ**

Наряду с очевидно благоприятными переменами (например ростом этической и политической чувствительности к языку) это также обусловило появление новых инерций – особенно в области коммуникации, парадоксально отданной на откуп сомнительным автоматизмам (впрочем, как и многие наиболее значимые сферы социальной реальности вроде родительства или романтических отношений). На практике это очень скоро привело к тому, что алгоритмы новых режимов речи, категорий, понятий и интонаций начали механически и бездумно встраиваться в старые экзистенциальные паттерны.

Это эссе о том, какие опасности для сообществ и их обитателей продолжают таить в себе свежеслепленные языковые сценарии; почему их так сложно заметить, несмотря на весь их опустошительный потенциал; и о том, что всему этому можно противопоставить.

ОДОМАШНИВАЯ ДИСТАНЦИЮ

В противостоянии силам освобождения системы власти всегда знали, где и как сдавать назад – перенимая и переваривая на свой лад самые эффективные императивы своих антагонистов. В их черед не стал исключением и классический анархистский императив солидарности внутри сетевых сообществ. Подхваченный в 1960-е предприимчивыми ньюэйджерами-однодневками (вроде Стюарда Бранда), уже очень скоро он был поставлен на службу технократическому разуму – и в результате тотально перезагрузил капитализм как проект, сообщив ему новое дыхание. Как отмечает бывший главный редактор «New Republic» Франклин Фоер, «вместо того, чтобы привести к фундаментальному перераспределению власти, новые сети попадают в руки новых монополий, всякий раз более могучих и хитроумных, чем прежде»¹.

Та же участь постигает и язык. Слепо и фрагментарно копируя коммуникативные поверхности либертарных дискурсов, в конце XX века капитализм принимается спешно обновлять скрипт своей морально устаревшей корпоративной культуры – что, в общем, неудивительно: к концу 1990-х только ленивый не иронизировал над ее утомительной чопорностью и тяжело-весным формализмом. И так, не только футболка и кроссовки бросают вызов деловым пиджакам и галстукам – «облегченный» стиль корпоративного общения, несмотря на сохранение

1 ФОЕР Ф. *Без своего мнения: как Google, Facebook, Amazon и Apple лишают вас индивидуальности*. М.: Эксмо, 2020. С. 37. (Деятельность компании «Meta Platforms Inc.» по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram – запрещена на территории Российской Федерации Тверским районным судом 22 марта 2022 года по основаниям осуществления экстремистской деятельности. – Примеч. ред.)

некоторых классических формул этикета также начинает заметно оттеснять коммуникацию эпохи бумеров.

Запрос на это отчасти формируется перезагрузкой самой концепции труда, трудового пространства и трудовой смены (теперь приходится как-то обходить правовые завоевания трудящихся XX века – но не аутсорсингом единым). На помощь приходит сценарий превращения работы в «дом». Для столь амбициозной (но крайне перспективной) ревизии облика труда капиталу постиндустриальной эпохи приходится изобретать убедительные приемы. Одной из манипулятивных тактик доместикации круглосуточной работы оказывается снижение градуса официоза в ее языках.

Одновременно под натиском освободительных тенденций – с их кинематографическими и текстовыми рефлексиями, с их яростным низовым социальным протестом – капитализму приходится постоянно тревожиться за свой имидж. Культура меняется, и теперь быть хищным, циничным и грубым означает быть непривлекательным, терпеть репутационные потери и неуклонно устаревать: после того, как критическая теория сорвала с капитала индустриальной эпохи все маски, обнажив таящийся под ними уродливый механизм, кому понравится каждый день созерцать его в зеркале? Все это привело к тому, что теперь корпорациям фактически остается лишь стискивать зубы и шаг за шагом вписываться во все мыслимые коммуникации *eco-, gender-, labor-* – все что угодно, лишь бы не получить укор в циничной *бесчувственности*.

Именно корпорация механически назначается отныне «главным пороком». И столь же механически корпорации принимают ся состязаться в обратном – в не менее гротескной *чувствительности*. Впрочем, на фоне общей инфантилизации социальности (уже не только потребительской, но и политической) это в целом даже не выглядит слишком противостоестественно.

МАРИЯ РАХМАНИНОВА
ПРИТОРНЫЙ СКРИПТ
И МАШИННЫЙ ХОЛОД...

ЗАБОТА VS ХИЩНАЯ СЕРВИЛЬНОСТЬ

Так, тренд на сюсюкающую «бережность», бездумно, неуклюже и крайне приблизительно снятый с кропоткинского первоисточника об эволюционных основаниях взаимопомощи², начинает свой путь в социальную повседневность. Едва ли удивительно, насколько этот неосентиментализм не обременяет себя прояснениями своего анархистского бэкграунда. И едва ли странно то, как мало кого это смущает: в обществе потребления коммуникативные новинки ничем не отличаются от матери-

2 См.: Кропоткин П.А. *Взаимопомощь как фактор эволюции*. М.: Редакция журнала «Самообразование», 2007.



альных. Разве что немного повышают символический статус своих потребителей: как более «искушенных» и «возвышенных». В пути обрастая рюшами, блестками, сердечками и всеми подобающими атрибутами эстетики торгового центра, «язык заботы» очень быстро утрачивает экзистенциальную связь со своим первоисточником и превращается в магистральный коммуникативный тренд клиповой культуры быстрых и ни к чему не обязывающих связей. А заодно – становится новым эсперанто капитала и подчинения.

При этом аморфность современного капитала и его машинерии зачастую не позволяет однозначно идентифицировать именно рыночный характер каждой в отдельности социальной интеракции. Диапазон отношений между человеком, обществом и метатекстом о мире снова и по-новому оказывается под ударом глобального капитала: наученные горьким опытом, отныне его нарративы могут вполне успешно притворяться хоть бенедиктинскими монахинями. Впервые эту проблему начинают регистрировать публицисты, журналисты и редакторы:

«Первой брешью в стене стал так называемый “брендированный контент” или “нативная реклама”. Все эти приемы были призваны решить проблему рекламы в интернете: баннеры превратились в раздражающий фактор, читатели стараются не замечать их, и, таким образом, они стали малоэффективным способом придания известности бренду. Баннеры физически оказываются на полях редакционного материала. Теперь брендированный контент должен быть замаскирован под обычное наполнение сайта. Это реклама, но составлена она так, чтобы внешне выглядеть как журналистский материал: [теперь неясно] это статья о новых научных методах отказа от курения в “Time” – или об изменениях на рынке труда в “New York Times”»³.

Если даже профессиональные труженики пера утрачивают способность различать редакционный материал и рекламу, стоит ли удивляться, что эта граница ускользает от людей, в чью сферу компетенции обычно не входит столь высокая чувствительность к тексту?

Процесс этой «атрофии» затрагивает самые разные области – в том числе гражданский активизм, образование и социальную заботу. Отвечающий современным имиджевым требованиям «язык заботы» все больше становится в них магистральным трендом. Однако, как и все ангажированное теологией капитала⁴, ритуальное копирование «слов бережности» служит либо

3 ФОР Ф. Указ. соч. С. 179.

4 Здесь под ней понимаются исследуемые политическими философами (Эрнстом Канторевичем, Джорджо Агамбенем и другими) теологические основания секулярной власти и иерархии, характерные для проекта модерна.

буквально материальному капиталу – то есть сиюминутным интересам бизнеса, – либо, что еще циничнее, капиталу символическому. И ориентированному на него нарциссичному желанию выглядеть современно и привлекательно-великодушно. Раз распознанная в качестве привлекательной, участливая «доброта» становится одной из самых модных масок эпохи. Во всех случаях инструментализации «языка заботы» его адресат сталкивается лишь с искаженными и бледными оттисками/отголосками кропоткинского/реклюзианского⁵ первоисточника (обычно даже неизвестного новым пользователям). Что это означает на практике? Вне зависимости от того, служит ли такой язык средством продать услуги или способом отточить модные реверансы новой социальной привлекательности, он оказывается гораздо опаснее холодного языка учреждений. Так, долго убеждая подойти ближе и открыться чуть больше, он, наследуя общей модальности капитала, точно так же бьет по лицу дверь с табличкой «Учет» – но с куда более близкого расстояния и потому куда чувствительнее. Что ж, с его генетическими предшественниками этот регистр языка вполне роднит то, что он составляет лишь инструментальную поверхность, за которой нет ничего, кроме пустоты и тотального безразличия. *Nothing personal, just business*. В этом смысле язык чиновника оказывается все же несколько честнее: по крайней мере он не притворяется, что ему не наплевать.

Аморфность современного капитала и его машинерии } зачастую не позволяет однозначно идентифицировать } именно рыночный характер каждой в отдельности } социальной интеракции. }

Кроме такого повышения уязвимости адресата, выхолощенный «язык заботы» имеет и другие последствия.

Во-первых, невозможность защищаться, когда «все так мило», хотя, казалось бы, что защита – это реакция на переход границ. Даже если такой переход замаскирован обезоруживающей речью, это не снижает его разрушительности. При этом соразмерно грубый ответ рискует выглядеть как хамство и нерелевантная агрессия – даже если его интенсивность не дотягивает до размера причиненного вреда. Эта когнитивная ошибка – одна из самых хищных ловушек эпохи приторного скрипта: даже опытных путников она подчас вынуждает к аварийному поведению.

5 Реклю Э. *Эволюция, революция и нравственные идеалы анархизма*. М.: Либроком, 2009.



Во-вторых, впервые знакомясь с «языком заботы» именно в поле капитала (а не по первоисточнику), сторонники альтернативных форм социальности не застрахованы от того, чтобы некритично перенести вместе с ним в коммуникацию и то, что в этом «языке» было не от первоисточника, а именно от капитала: лень и невнимательность ума, безразличие, цинизм и пустоту слащавой формы. Это создает риски вообще для всех, кто наберется решимости обратиться к альтернативным проектам социальности: натолкнувшись на привычный цинизм и холод с непривычно близкой дистанции, немудрено сделать вывод об утопичности таких проектов в целом. Не зная, какой путь проделал паттерн состоявшейся коммуникации, сложно заподозрить, что вначале он был похищен, затем разбавлен, а после возвращен – но уже в искаженном виде. Все как анонсировал в «Мифологиях» Ролан Барт⁶. Здесь-то и срабатывает эффект «бабочки Чжуан Цзы»: встречая дискурс о заботе чаще в бумажном макете, чем в подлиннике, но не имея надежных средств отличать один от другого, крайне затруднительно понять, когда и какие последствия ожидать и когда одни и те же слова означают солидарность, а когда блестящую приманку.

Что можно всему этому противопоставить?

Во-первых, *штирнерианскую*⁷ *бдительность в защите собственной автономии* и готовность отстаивать ее при срабатывании сигналов тревоги.

Во-вторых, *собственную осознанность в работе с регистрами языка* коммуникации. В этом смысле список языков, к которым совершенно незачем прибегать без злого умысла, однозначно следует дополнить мнимо заботливым языком гротескно вовлеченной бережности. Чаще вместо нее куда уместнее нейтральный язык уважительной, но конструктивной дистанции, умеющей считаться с чужими границами.

В-третьих, *социальную бдительность*: если «голос заботы» почему-то вдруг звучит из среды профессиональных работников, бенефициаров или просто невольных воспитанников капитала, принимать его за чистую монету довольно рискованно: слова о солидарности и взаимопомощи здесь – только статисты, обслуживающие символические (и не очень) иерархии.

В-четвертых, *внятные критерии отличия оригинала от копии*: в подлиннике слова о заботе, поддержке, братстве предполагают экзистенциальную ответственность и означают возможность вполне определенных дальнейших маршрутов. Например, доверительные интонации и формулы психологического груминга подразумевают наличие реального интереса и участия – и совершенно точно не стыкуются с внезапной отстраненностью

6 См.: БАРТ Р. *Мифологии*. М.: Академический проект, 2008.

7 См.: ШТИРНЕР М. *Единственный и Его собственность*. СПб.: Азбука, 2001.

чиновника, которому вообще-то совершенно все равно. Если это не выполняется, перед нами – муляж. И самое действенное средство против его очарования – требование непротиворечивости, предполагающее популяризацию первоисточников идей взаимопомощи и разоблачение эпизодов дискурсивной манипуляции этими идеями в имиджевых целях.

ФАМИЛЬЯРНОСТЬ VS БЛИЗОСТЬ

Обновленный «софт» капитала видоизменяет не только поверхности языка – убедительно имитируя все, чем он не располагает и о чем не имеет ни малейшего представления (заботу, солидарность и интерес). Трансформируется и сама хореография языковых ситуаций.

Логику, лежащую в основе этой новой версии, уместно сравнить с логикой азотистых удобрений, призванной ускорять процессы с возможностью пропустить утомительные и «лишние» стадии. Постиндустриальный капитализм вообще склонен помечать как «лишнее» все, что заставляет ждать и вдобавок не служит дофаминовым петлям капитала. Обычно – под предлогом, что «это уже не нужно, устарело, на это больше ни у кого нет времени». Несмотря на свою отталкивающую одиозность и вопиющую концептуальную несостоятельность, предлог этот каким-то магическим образом мгновенно и крайне успешно инсталлировался в самосознание современности – от садоводства до романтических отношений. Он-то и определил еще одну ключевую языковую подмену в самых разных коммуникативных интеракциях: непроговариваемую *подмену близости – фамильярностью*.

Алгоритм этой подмены примерно таков.

Шаг первый. Вместо речевой прелюдии, предвосхищающей встречу, – резкий залп сумбурной лести: «для разогрева». Не в силах устоять на ногах от неожиданности, адресат теряет управление собственными границами. Действительно, даже при полном равнодушии к лести выпутаться из нее крайне затруднительно – во всяком случае без риска репутационных потерь. С этой позиции оказывается грубым не только холодный ответ – пусть даже и релевантный реальному уровню близости оппонентов, – но также и ответ, просто более холодный по сравнению с предпринятым манипулятивным фейерверком.

Существует обширная антропологическая литература о подарках, которая берет начало от «Очерка о даре», написанного французским антропологом Марселем Моссом в 1925 году, и об «экономиках дарения», функционирующих на совершенно



иных принципах, чем рыночные экономики⁸. Так, испокон веков неожиданный дар закономерно вызывает в людях тревогу, страх и негодование: его негласно требуется не только отдарить, но и отдарить равноценно. Здесь-то нас и подстерегает опасность: в отличие от обществ, построенных на экономике дара, общество потребления не артикулирует шкалы эквивалентов подобных даров. Вместо этого оно устанавливает их произвольно и подразумевает имплицитно. В данном случае предполагаемый соразмерный подарок – шаг навстречу, пропускающий сразу серию этапов, необходимых и неизбежных при естественном развитии взаимодействия и одновременно трудоемких и значимых.

Шаг второй. Успешно срезав первый участок пути, можно переходить к следующему. Для этого очень эффективно дополнить огорошивающую лесть – сниженной (или даже обценной) лексикой, сленгом, сюсюканьем и прочими мнимо расслабляющими деталями, призванными установить панибратство задолго до того, как близкие к нему интонации вообще могли бы стать уместными при естественном ходе вещей. Это грубое наступление отразить еще сложнее, чем залпы лести: риск показаться в ответ холодным, безучастным и невежливым и погубить тем самым возможные «добрые отношения» в самом начале существенно возрастает. Однако, стараясь его избежать, быстро вязнешь в той же ловушке: еще один длинный участок пути срезан в кратчайшие сроки – с минимальными потерями для атакующего.

Шаг третий. До полной власти над своим адресатом ему остается лишь нарушить его оцепенение горстью разнообразных интимностей: приторных картинок в переписке, фамильярных признаний, вопросов и образов. И после этого уже вполне беззастенчиво требовать усердия в поиске форм взаимности – чтобы не показаться «бесчувственным» и «неблагодарным». Этот короткий путь «через пустырь» хорошо знают начальники и начальницы «новой волны»; знают его и другие жрецы и жрицы капитала, уверенно плавающие в его водах, постоянно меняя обличия. Об этом алгоритме важно знать несколько вещей.

Первое. Ни за одним из подобных нарративов не стоит ничего, что имеет в виду либертарный первоисточник, к которому они с той или иной степенью отчетливости косвенно отсылают. Неважно, называют они его абстрактно «человечностью» или же более конкретно – «нашими очевидными анархистскими ценностями» (разумеется, не утруждая себя прояснением этой мнимой очевидности реальным знакомством с традици-

8 См.: ГРЭБЕР Д. *Долг: первые 5000 лет истории*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

ей). Все это – лишь слепки поверхностей, тактическая мимикрия хищника, созвучная последним трендам на социальную привлекательность.

Второе. Фамильярность всегда похожа на шантаж и всегда обязывает. Но часто она манипулятивна злонамеренно и прекрасно осведомлена о том, как именно выбивает почву из-под ног у своего адресата. Принудить к покупке, завлечь в услужение, сделать обязанным и вынудить откупаться или оправдывать доверие, просто нарциссически использовать для собственного имиджа – возможных проектов у этой манипуляции множество, особенно в эпоху господства репрезентации. Коммуникация же, и тем более адресат, здесь – лишь средство, расходный материал. Расходные материалы взаимозаменяемы, и, главное, о них *не сожалеют*.

Третье. Инерции языка сильны, поэтому вполне реально усвоить именно этот трендовый паттерн непреднамеренно. В этом смысле одному из сюжетов рефлексии о языке следует быть таким: каждый раз попадая в воронку неуместной фамильярности, пестрящей с самой первой встречи вычурной лестью, сердечками и умилительными гифками, не лишне сканировать происходящее на предмет скрытой заинтересованности собеседника в сближении без вызревания реальной связи – обременяющей трудом ума и обязательствами.

Постиндустриальный капитализм склонен помечать как «лишнее» все, что заставляет ждать и вдобавок не служит дофаминовым петлям капитала. Обычно – под предлогом, что «это уже не нужно, устарело, на это больше ни у кого нет времени».

Если такой интерес все-таки не обнаруживается, вероятно, этот режим речи выбран «по умолчанию». В этом случае можно пытаться уйти от него по обоюдному согласию. Замечая же подобные автоматизмы за собой, стоит задаться вопросами: не опережает ли такой интимничающий язык своими императивами взаимности естественного *созревания* отношений? А также: не свидетельствует ли интуитивный выбор именно этого типа речи о безотчетном запросе на солидарность – и в целом на общество либертарного типа? Если да, то как реализовать эти побуждения более подходящим и уважительным способом? А если нет и атмосфера солидарности нам менее симпатична, чем имперсональные ритуалы корпораций, то тем более: они куда последовательнее без неуклюжих заимствований из анархистской традиции.

МАРИЯ РАХМАНИНОВА
ПРИТОРНЫЙ СКРИПТ
И МАШИННЫЙ ХОЛОД...



INTER-ESSE VS DAS MAN

Итак, квазигоризонтальные скрипты на входе, фамильярность при подсоединении – чем еще замечательны новые тренды коммуникации? Из первых двух элементов следует еще один – важный уже не столько для участников, сколько для самого высказывания: *вымывание смысла*.

Имитация интереса становится первым шагом в имитации *близости*. Общей для обеих оказывается реальность абсолютного безразличия. «Ваш звонок очень важен для нас, мы вам обязательно перезвоним», «расскажите, что вы чувствуете...» и прочие фигуры речи все больше напоминают то ли секс по телефону, то ли разговор психиатра с пациентами психбольницы.

Часто эта интонация выбирается в качестве магистральной для целых образовательных курсов. В этих случаях гротескный и инфантилизирующий груминг нередко дополняется снижением уровня материала и каждого отдельного высказывания в нем – до буквально дошкольного (включая тренд на модные тик-ток тайминги). В последние годы эта интонация все больше захватывает медиaprостранство, поразительно успешно становясь новой нормой; а языковой формат, выхолощенный до уровня словарного запаса младшей школы, уверенно вытесняет прежний лексико-грамматический стандарт носителя языка.

В этом смысле имитация горизонтальности оказывается вдвойне парадоксальной: во-первых, патерналистский тон – мягко говоря отнюдь не горизонтален; во-вторых, презумпция умственной неполноценности и неспособности понимать язык на уровне носителя совершенно точно не похожа на «общение на равных» (якобы подразумеваемое дискурсами о социальной справедливости и горизонтальности, за которыми теперь принято стыдливо скрывать кухню современного капитала). Инфантилизация оппонента во все времена служила одной-единственной цели – снизить значение его речи. Нет причин, по которым это могло бы вдруг начать работать иначе.

Таким образом, в совокупности с бюрократическим безразличием, тщательно прикрытым приторными скриптами, инфантилизация завершает герметичность «невстречи»: заведомо отдаленное и равно незначимое любое высказывание в этой коммуникации оказывается обреченным на неразличимость. Важны лишь две вещи: а) выполнен ли ритуал, б) решена ли исходная задача, ради которой был запущен весь протокол.

С одной стороны, эта логика не нова: за какие-то сто лет она выжгла дотла большую часть плодородного академического поля – и притом не только в России, но и во всем мире. Скука заполнила аудитории и конференц-залы. Теперь ожидание ко-

фе-брейков мало чем отличается от ожидания пятниц в мире офисов и белых рубашек. Неважно, что написано в обсуждаемой статье, диссертации, книге – скорей бы фуршет. Ради него мы, так и быть, даже готовы соблюдать утомительные системы языковых приличий. Среди этой пустыни экзистенциальной ситуации *Inter-esse* (буквально: «внутри-бытию») – попросту негде случиться. «Вбытийствоваться» в смысловую констелляцию – задача, требующая и владения «протоколами» интереса, и внутреннего труда, и согласия между языком и содержанием высказывания. Такой синтез – не самый доступный навык эпохи *reels* и *ChatGPT*.

С другой стороны, кое-что новое в этой логике все-таки появилось: прежняя имитация осмысленности сменилась новой имитацией – участия и искреннего вовлечения. Такое усиление иллюзии присутствия оказалось действенным средством, чтобы наверняка избежать возрастающего риска разоблачения, неизбежного при все более очевидной и повсеместной энтропии систем, претендующих на смысл. В самом деле, громкие фейерверки заглушают бессодержательную тишину – и весьма убедительны для имитации участия. Однако, если приглядеться к каждой такой обратной связи, она никогда по-настоящему не соотносится со сказанным, но всегда оказывается абстрактно-описательной, заверяющей и грохочущей обезоруживающей лестью, после которой будто бы уже и нечего ни добавить, ни спросить. Что ж, это не странно: уважение и подлинное участие предполагают труд внимания и время на вникание; залпы конфетти прямо в лицо позволяют опустить этот утомительный этап – и вернуться к своим делам как ни в чем не бывало.

В этом смысле гипертрофированная имитация открытости в действительности парадоксально оказывается лишь ширмой для предельной замкнутости, надежной защитой от встречи с чужими мыслями, смыслами и миром как таковым. Уютный и переливчатый пузырь – не это ли идеальная модель для описания новых типов (не)присутствия в мире и отталкивания его прочь? Не это ли – безупречный фрейм для эпохи репрезентации и нарциссизма, фрустрируемого всем, что отвлекает его от самого себя? Тотальность такой поверхности позволяет различать в мире, во-первых, только зеркало, во-вторых, только тогда, когда и это не лень.

Как выйти из этого порочного круга? Без тотальной смены консенсуса культуры о языковых регистрах это едва ли возможно. Однако уберечься от опустошительности ее безразличия и не стать точкой его воспроизведения и расширения вполне реально. Главные шаги на этом пути: во-первых, готовность встретиться в живом вопрошании/слушании и сопутствующий труд внимания, мысли и чувства; во-вторых, нали-



чие содержательной обратной связи, свободной от блестящих скриптов, неправдоподобно и пошло имитирующих восторг и признание.

Гипертрофированная имитация открытости в действительности парадоксально оказывается лишь ширмой для предельной замкнутости, надежной защитой от встречи с чужими мыслями, смыслами и миром как таковым.

АФФЕКТИВНОЕ VS ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ

Одно из определяющих оснований всех перечисленных подмен – повсеместное концептуальное смешение экзистенциального и аффективного. Что сделало его возможным? Начавшаяся после Первой мировой ревизия современной картины мира – всесторонне дискредитировавшая себя опытом катастроф XX века. То, о чем давно предупреждали противники амбициозного проекта Просвещения, случилось: у ученых снова и снова получалось в основном лишь оружие (с каждым разом все более разрушительное) – и всегда как бы отдельное от тех, кто его производит, заряжает и применяет.

В этой катастрофической точке, наконец, встретились и объединили свои теоретические перспективы моральная философия и критика технократического разума. Оказалось, что у них много общего и в качестве драйвера мышления «эффект дистанции» (осмысляемый в том числе Зигмунтом Бауманом⁹) неплохо устанавливается именно определенным порядком технического праксиса. Все это запустило масштабные процессы в философии науки: переосмысление самих оснований эпистемологии вначале одиночками вроде Пола Фейерабенда, а затем постепенно и академическим консенсусом перезагрузило статусы многих элементов инфраструктуры знания. В частности, значимости не только мыслящего, но и чувствующего смыслополагания.

Пожалуй, именно его можно назвать ключевым драйвером экзистенциального отношения: действительно, как учение экзистенциализм возникает между Первой и Второй мировыми войнами – аккуратно в момент утраты европейским миром прежних смысловых ориентиров и констант. Опыт катастрофы обнажил таившийся за ними абсурд и поставил европейские

9 БАУМАН З. *Актуальность Холокоста*. М.: Европа, 2010.

общества перед необходимостью искать альтернативные протоколы смыслопроизводства.

Однако, подхватив тренд на реабилитацию чувства как нового значимого элемента ситуации философского мышления, капитал, как обычно, без смущения присвоил его, оснастив переводом на собственный язык. В ходе этого перевода компонент философского мышления загадочно исчез, оставив реабилитированное *чувство* в полном одиночестве и тем самым фактически сведя его к голому, наэлектризованному и беспомощному *аффекту*.

Долгие истории редко кто помнит целиком. Если сегодня заявить, что реабилитация чувственности и индивидуальности в эпоху эпистемологического переворота заключалась именно в этом, мало кто заметит подвох: «да, что-то такое было и, кажется, примерно так».

Однако лишенный философского мышления аффект – это просто смутный эффект поверхности, раздраженной приятным/неприятным воздействием или собственным влечением. Кажется, именно через эту дверь приятное и неприятное незаметно проникают на место прежнего бинаризма истинного/ложного, ничуть не смущаясь поверженностью бинаризмов в войнах постмодерна. Только теперь, вместо священника или ученого, они призывают в свои защитники психолога. Отныне в респектабельные одежды *значимого* может рядиться любое полуосмысленное желание или раздражение, примеряя на себя красивое имя «экзистенциального».

При этом крайне показательно, что последователи культа аффекта первым делом принимают за косплеить философов прошлого и вместо того, чтобы освободить философию от монополии власти (или хотя бы просто последовательно отстраниться от нее и придумать собственные языки), принимают за увлеченно наряжать блестками ее пыльный инструментарий, все подряд называя «рефлексией» и «инсайтом».

В сущности, эта игра с переозначиванием житейского опыта наукообразными эвфемизмами могла бы оставаться просто детской шалостью. Но языки перформативны – особенно языки власти и иерархии. Если, по замечанию Бакунина, прикасаясь к власти, даже Прометей становится Цезарем – не удивительно, что, оборачиваясь языками прошлого, некогда встроенными в иерархии, инфантильный культ безотчетного аффекта начинает повелевать, некритично ретранслируя весь протокол целиком, а не только его философскую часть. Не нужно быть Ортегой-и-Гассетом, чтобы расслышать в этих процессах предвестье платоновского рождения тирании из демократии – особенно потому, что именно язык превосходства и значимости был не отброшен (например, чтобы освободить философию от



монополии академии), но *перекроен*. Это из него в последние годы наспех рождается новый метатекст, призванный залатать неприглядную брешь в дискурсе аффекта о себе как об экзистенциальном и правомерном – во всяком случае после краха модерности как проекта.

Эта заплатка кроится из новой подмены. Чтобы и дальше разыгрывать карту реабилитированного чувства, нужно как-то, наконец, обосновать самоназвание «экзистенциальный»: располагая одним лишь голым аффектом, это невозможно делать слишком долго. Как-то нужно ввести в игру фигуру смыслопроизводства. Спасительное решение находится в хитром трюке: чтобы избежать действительного возвращения чувству философского мышления (это немало расстроило бы современную машинерию власти), можно добавить компонент смысла не внутрь бытийной конструкции – к чувству, но в качестве обертки – ко всей ситуации, в которой чувство одиноко и сведено к аффекту.

Например, так: «Этот аффект имеет *смысл*, потому что...». Что здесь произошло? Ловкость омонимии – и никакого мошенничества: *смысл* как производящий элемент ситуации, как мышление, сообщенное самому чувству, и *смысл* как оценочная, ценностная характеристика – вещи очень разные. Слово же при этом одно. Как многое теперь становится возможным! Даже высказывание: «Наши чувства – единственное, что имеет смысл!». Любой софист мог бы гордиться такой риторической победой: и компонент смысла формально показан, и аффект по-прежнему отключен от философского мышления и чувствующего смыслопроизводства, и, главное, отброшена необходимость разбираться с тем, что оно вообще когда-то означало и как иначе могло быть освобождено от монополии систем власти. Короче говоря, бартовское «похищение» языка снова выполняется – и снова в интересах хищных дискурсов.

Главный из них – на поверхности: манипуляция всегда обращена именно к аффектам. Ее и саму можно определить как принуждение к эмоциям, в особенности там, где они неуместны (вообще или в конкретной комбинации/интенсивности). Значимость простых аффектов для принципиального срабатывания манипуляции отмечают подавляющее большинство специалистов по техникам и психологии коммуникации¹⁰. В этом

10 См., например: Сидоренко Е.В. *Тренинг влияния и противостояния влиянию*. СПб.: Речь, 2004; AVOID R. *What's Wrong with Manipulation in Education?* // *Philosophy of Education*. 2021. Vol. 77. № 2. P. 66–80; Buss S. *Valuing Autonomy and Respecting Persons: Manipulation, Seduction, and the Basis of Moral Constraints* // *Ethics*. 2005. Vol. 115. № 2. P. 195–235; MORENO BELLO Y. *Interpreting at War: Fighting Language Manipulation* // RAQUEL LÁZARO GUTIÉRREZ Y OTROS (Eds.). *Investigación emergente en Traducción e Interpretación*. Granada: Editorial Comares, 2015. P. 116–128; MAKOWSKI J. *Zum Wesen der Sprachmanipulation. How Not to Do Things with Words. Beiträge zur Sprache in Politik, Recht und Werbung* // *Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej*. 2011. № 7. S. 75–88; и другие.

смысле именно эмоция оказывается предпочтительной средой разворачивания манипуляции, и, чем большей будет ее территория по сравнению с мышлением, тем выгоднее и перспективнее позиция манипулятора. При этом сами аффекты как явления (и их более мыслящую разновидность – чувства) винить в этом неправомерно: в данном случае речь идет лишь о стратегии игры ими как фигурами.

МАРИЯ РАХМАНИОВА
ПРИТОРНЫЙ СКРИПТ
И МАШИННЫЙ ХОЛОД...

**Не удивительно, что, оборачиваясь языками
прошлого, некогда встроенными в иерархии,
инфантильный культ безотчетного аффекта начинает
повелевать, некритично ретранслируя весь протокол
целиком, а не только его философскую часть.**

С этим обстоятельством связан мощный тренд на чувственность (мнимо освобождающий и раскрепощающий). Системы власти научены горьким опытом открытой игры и теперь вовсю соблюдают меры предосторожности, охотно пользуясь овечьей шкурой: под видом «преодоления опасных тенденций рационализма модерности», они не просто делают все, чтобы легитимно отключить системы мышления в целом, с фанфарами водружая на их место системы аффектов. Параллельно, в духе фукольдической истории о стерилизации городских пространств и исчезновении потайных углов, под видом «эмансипации телесности» они включают техническое освещение всюду, где могла укрыться интимность, и помещают ее под прожектор всеобщего наблюдения. В своей работе «24/7. Поздний капитализм и цели сна» Джонатан Крэри пишет: «Фармацевтическая промышленность в сотрудничестве с нейробиологией дает яркий пример финансиализации и экстернализации того, что некогда считалось “внутренней жизнью”»¹¹.

Декларативно этот жест преследует, разумеется, исключительно благие цели: освобождение сексуальности, политическое осмысление тела, раскрепощение и так далее. Но в целевой среде хлор убивает не только бактерии, а вообще все живое. Интимность исчезает вслед за последними структурами уединения и дистанции. А вместе с ней – и огромное множество чувств и эмоций (еще одно противоречие в софистике капитала, апеллирующей к значимости чувств). Их утрата сопровождается, однако, смутным воспоминанием/подозрением об их значимости. Что будет делать человек, застигнутый этим внезапным опустошением? Где и в чем будет искать компен-

11 Крэри Дж. *24/7. Поздний капитализм и цели сна*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. С. 49.



сацию этих интенсивных состояний? Кажется, ответ очевиден. И вот, бенефициаром разворачивающейся драмы становится уже не только фармацевтическая промышленность, беспрецедентно разбогатевшая на распространении аддикций от своей продукции с момента популяризации дискурсов об аффектах и расстройствах, но также и известный черный рынок, лоббируемый правительствами государств по всему миру.

Действительно, бесперебойность, переменчивость и интенсификация знания о все новых тревогах, желаниях и диагнозах не может не обращать на себя внимания. Кажется, именно здесь, выражаясь языком Альтюссера, протекает заключительный процесс интерпелляции¹². Запуск новых универсальных коктейлей химических элементов гарантирует обезличивающую унификацию внутренних ландшафтов и обеспечивает усредненную гомогенность аффективного, экзистенциального и телесного опытов. Так, индивидуальное без остатка размывается в социологическом. А поскольку оно, как мы увидели выше, отныне транспарентно, место возможного своеобразия, волеизъявления и вообще отклонения оказывается чисто технически невозможным. Будучи поймано, растворено «коктейлями тревоги» и «коктейлями радости», индивидуальное тонет в коллективном – вместо того, чтобы напитываться новыми соками от сил единства и солидарности и взаимно питать их. Теперь на индивидуальности друг друга не просто не остается времени – как это было в позднеиндустриальную эпоху, – отныне из них вымываются самые основания своеобразия, могущего вызывать интерес. Так, исполняется дурное чаяние Сартра: разделенные коконами скуки, с одной стороны, и тотальной предсказуемости, с другой, Другие действительно становятся «адам».

Из этого положения уже не заметить, как вмененный аффект в самом деле начинает учиться гротеску у «химических штормов», стирающих контуры островов; как живая речь подменяется роботическим скриптом (о чем уже давно тревожатся художники – от Авербаха до Лапенко); как на шее пойманного в ловушку и опустошенного инфантильного субъекта все больше затягивается дофаминовая петля. Ценность такого химического протокола для капитала – на поверхности, Джонатан Крэри описывает ее так:

«Всеобщая похоть – один из неизбежных результатов глобального масштаба рассматриваемых рынков и их зависимости от последовательных или предсказуемых действий больших групп населения. Это достигается не путем создания одинаковых индивидов, как утверждали теоретики массового общества, а путем уменьшения или устранения различий, сужения диапазона форм поведения,

12 Альтюссер Л. *Идеология и идеологические аппараты государства* // Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 14–58.

которые могут эффективно или успешно функционировать в большинстве современных институциональных контекстов»¹³.

МАРИЯ РАХМАНИНОВА
ПРИТОРНЫЙ СКРИПТ
И МАШИННЫЙ ХОЛОД...

Таким образом, сведение экзистенциального к аффективному, а также стирание из мира и из взаимодействия *интимности* через подмену пустым фамиллярным *интимничаньем* оказываются лишь половиной беды. Второй половиной становится фармацевтическая/наркотическая стандартизация полотна аффектов, оторванных от философского мышления под благовидным предлогом борьбы с инерциями Просвещения.

Индивидуальное тонет в коллективном – вместо того, чтобы напиваться новыми соками от сил единства и солидарности и взаимно питать их. Теперь на индивидуальности друг друга не просто не остается времени, отныне из них вымываются самые основания своеобразия, могущего вызывать интерес.

Главный итог этих манипуляций с субъектностью – ее максимальная усредненность и предсказуемость (на основании известных свойств и эффектов химических веществ и их комбинаций). Никаких отклонений и случайностей – ни изнутри, ни извне: любой опыт, отличный от допустимого системой, недоступен и субъективно (индивид тотально перекроен), и объективно – будучи тщательно дискредитированным как «устаревший», «ненужный», «сомнительный» и так далее. Так мы оказываемся надежно заперты в тюрьме вмененных аффектов – принуждены желать, томиться и страдать по одному на всех протоколу. Точно ли это – то самое освобождение от досадных инерций модерности, именем которого все затевалось?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И люди, и созданные по их образу и подобию машины принципиально обучаемы. Обучаемы и системы, возникающие из симбиозов их активностей. Особенно внимательны среди них системы власти – самые нарциссичные и потому ни на минуту не способные забыть о себе в акте познания. XX век многому научил и первых, и вторых, и третьих. Поэтому поле, на котором игра ведется сегодня, неизмеримо сложнее прежних и не-

¹³ КРЭРИ Дж. *Указ. соч.* С. 50.



измеримо многослойнее. Репрезентация – в качестве главного алгоритма присутствия в этом поле – поглотила не только политику: еще во времена Франкфуртской школы *кажимость* начала вытеснять более очевидный регистр отчужденного бытия – *обладание*. С тех пор она многократно усложнилась и определила ценностные ориентиры культуры эпохи виртуальной реальности. Фактически это означает, что теперь мы на каждом шагу вынуждены продираться через все ее уровни, с трудом различая ее ловушки и мистификации, ее зыбкие контуры и плотности.

В этом эссе мы уделили внимание некоторым из них. Прежде всего – расположенным в области коммуникации: повседневной, деловой, активистской или романтической. Рассмотрев трансформацию коммуникативных сценариев на языковом, философском и психологическом уровнях, мы нащупали и предварительно обозначили некоторые противоречия новых манипулятивных сценариев взаимодействия, которыми пользуются системы власти и которым они незаметно обучают всех остальных. При этом общим для всех рассматриваемых нами процессов на всех уровнях оказывается механизм подмены, фальсификации, мимикрии (впрочем, закономерный в эпоху *кажимости/репрезентации*).

По-видимому, если альтернативный ему протокол возможен, то он связан с тривиальным философским противопоставлением *бытия – кажимости, а со-присутствия – репрезентации*. Но на сей раз – на нетривиальных основаниях и с нетривиальных ракурсов. Для того, чтобы принять этот вызов, не лишне обзавестись картами сейсмоактивности действующих в этом пространстве типов власти и ее утилизирующих протоколов (их черновой набросок и был одной из главных задач эссе). Таким видится нам предварительный шаг к отмене совершаемых подмен и противопоставлению диалектической логики циничной и опустошительной «логике азотистых удобрений».

В широком смысле это требование следует отнести к глобальному проекту реабилитации и возвращения сложности (о котором сегодня все чаще говорят философы и художники всего мира – от Петра Рябова до Франклина Фоера и Джонатана Крэри). Применительно к коммуникации это означает требование развития любой близости (профессиональной, дружеской и прочих) из медленного движения взаимного бытия и языка в сторону возрастания. Такое развитие невозможно без усложнения экзистенциальных связей, взаимного интеллектуального вовлечения и кропотливого труда причастности.

Однако эта динамика не исключительно субъективна: для нее важны и некоторые условия объективной реальности. Среди прочих – противостояние нарастающему тренду на стериль-

ную транспарентность городских/межличностных/внутренних пространств. Первый регистр осмыслен и помещен в карантин еще Фуко¹⁴; два других все еще слабо проблематизированы и присутствуют в культуре главным образом под видом освободительных тенденций. Отчасти действительно располагая эмансипаторным потенциалом, преимущественно именно они ответственны и за мимикрию фамиллярности под близость, и за подмену экзистенциального беспомощно-аффективным.

Другим важным объективным условием (впрочем, тесно связанным с транспарентностью) оказывается мода на ультимативную тотальность аффекта. Вглядываясь в нее, несложно разглядеть довольно бесхитростный протокол ее императива минус-субъектности. Под благовидным предлогом борьбы с «хищной рациональностью проекта модерна» индивид дискурсивно сводится к полю аффектов. Эта редукция сопровождается убедительным побуждением его исчерпывающе узнавать себя в этой новой идентичности и описывать себя в ее соблазнительных терминах: «я есть то, что я ощущаю». Поскольку аффект – системообразующий драйвер манипуляции, такое принятие фактически равнозначно новым, беспрецедентным степеням уязвимости. Отсюда до полной подчиненности такого индивида ровно один шаг: остается лишь поместить шаткую поверхность под его ногами в напряжение между фрустрацией тревоги, желанием удовольствия и скукой отключенного ума. В этом направлении успешно состязаются маркетинг и идеология.

Что можно противопоставить всем этим новым вызовам в глобальном смысле? И что может включать в себя затронутый проект «реабилитации сложности»?

Во-первых, определение, наблюдение, разоблачение и приостановку как можно большего числа роботических режимов подмены: в языке, коммуникации и смыслопроизводстве – независимо от того, ангажированы они внешними системами власти или же без злого умысла запускаются через инерции культуры.

Во-вторых, масштабное возражение роботическому скрипту аналоговым языковым бытием – способным к спонтанности, новизне и свободе. Иначе говоря, бытием и мышлением за пределами зацикленного искусственным интеллектом выбора из двух готовых вариантов, загруженных политически небеспристрастными системами внешних данных.

В-третьих, противостояние транспарентности внутренних, межличностных и внешних ландшафтов. С одной стороны, для сохранения режима интимности, позволяющего вызре-

14 Фуко М. *Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 161.



вать смыслам и интенсивностям; с другой, для защиты индивидуального от растворения в универсальном и усредненном протоколе коллективного – в равной степени безразличного и к личности, и к солидарности, и к миру в целом. Напротив, тотальная прозрачность обеспечивает машинную предсказуемость, мешающую предполагать в индивидах, коллективах и ситуациях как своеобразие, так и ценность.

В-четвертых, борьбу за возвращение сложности на место плоских клише, вмененных под предлогом «естественного упрощения культуры» (с которым почему-то требуется считаться как с безобидным природным явлением). Однако необязательно быть Джеймсом Скоттом, чтобы понимать: чем проще ландшафт, тем сложнее в нем укрыться от ока власти и ее манипуляций. Области языка, коммуникации и мышления – одно из основных мест сражений с ее системами. А значит, для них это верно прежде всего.

Перечисленные маршруты – далеко не единственные, но вполне подходящие для глобальной консолидации против технически оснащенного противника, служащего старым богам.